

3.3. Власть и культура

3.3.1. Дело Пастернака. «Жизнь и судьба» Гроссмана

Сложными оставались отношения власти и интеллигенции. Б. Пастернака заставили отказаться от получения Нобелевской премии по литературе, присужденной ему за роман «Доктор Живаго».

Как только в Москве стало известно, что Шведская академия наук присудила Пастернаку Нобелевскую премию по литературе, к нему в Переделкино кинулись иностранные корреспонденты. И он говорил им, что очень рад этому известию. На вопросы же, как к этому отнесутся руководители страны, отвечал:

– В Советском Союзе должны были бы приветствовать это присуждение, ибо член советского общества удостоен такой чести. Так что надеюсь на положительную реакцию властей и общественности. Но не исключаю и возможности того, что у меня будут неприятности{1666}.

И действительно, в тот же день, 23 октября 1958 г. секретарь ЦК КПСС М.А. Суслов предложил своим коллегам по Президиуму ЦК признать, что этот акт является «враждебным по отношению к нашей стране» и «орудием международной реакции, направленным на разжигание холодной войны». Это было бы желательно и внушить Пастернаку через его соседа и друга К. Федина, с тем чтобы он отклонил премию и выступил в печати с соответствующим заявлением. Газета «Правда» должна подготовить и опубликовать фельетон. А виднейших советских писателей следовало бы организовать на коллективное выступление{1667}. В тот же день Президиум ЦК КПСС принял соответствующее постановление, и вся идеологическая мощь партии была приведена в действие.

Как отчитывался перед Сусловым заведующий отделом культуры ЦК КПСС Д.А. Поликарпов, между Фединым и Пастернаком состоялась часовая встреча. «Поначалу Пастернак держался воинственно, категорически сказал, что не будет делать заявления об отказе от премии и могут с ним делать все, что хотят. Затем он попросил дать ему несколько часов времени для обдумывания позиции». И пошел советоваться с Всеволодом Ивановым. В условленное же время для продолжения разговора с Фединым не явился. «Это следует понимать так, что Пастернак не будет делать заявления об отказе от премии»{1668}.

25 октября собрали партийную группу руководства Союза писателей. Присутствовало 45 человек, 30 из них выступили. И все они «с чувством гнева и негодования осудили предательское поведение Пастернака». Их единодушное мнение сводилось к тому, что «Пастернаку не может быть места в рядах советских писателей». Правда, кое-кто высказал мнение, что исключать его немедленно из Союза писателей не следует, так как «это будет использовано международной реакцией в ее враждебной работе против нас!» Эту точку зрения особенно отстаивал главный редактор журнала «Советский Союз» Н.М. Грибачев{1669}.

26 октября «Правда» опубликовала статью Д. Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». Роман Пастернака в ней характеризовался как «злостный пасквиль на социалистическую революцию, на советский народ, на советскую интеллигенцию», автор которого дарит свои симпатии «отродью контрреволюционной буржуазии». В статье довольно прозрачно намекалось на то, чего ждут от прогневавшего власть писателя и чего следует ожидать, если он не смирится перед ней. «Если бы в Пастернаке сохранилась хоть искра советского достоинства, если бы жили в нем совесть советского писателя и чувство долга перед народом, то и он бы отверг унижительную для него как писателя “награду”. Но раздутое самомнение обиженного и обозленного обывателя не оставило в душе Пастернака никаких следов советского достоинства и патриотизма. Всей своей деятельностью Пастернак подтверждает, что в нашей социалистической стране, охваченной пафосом строительства светлого коммунистического общества, он – сорняк»{1670}.

27 октября, получив приглашение явиться на расширенное заседание правления Союза писателей, Пастернак отвечал в письменном виде: «Я еще и сейчас, после всего поднятого шума и статей, продолжаю думать, что можно быть советским человеком и писать книги, подобные “Доктору Живаго”. Я только шире понимаю права и возможности советского писателя и этим представлением не унижаю его звание... Я думал, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснется общества, часть которого я составляю. В моих глазах честь, оказанная мне, современному писателю, живущему в России, и, следовательно, советскому, оказана вместе с тем и всей советской

литературе. Я огорчен, что был так слеп и заблуждался». По его мнению, вопрос можно было бы решить следующим образом: можно в Стокгольм за получением премии не ездить, попросив внести деньги в фонд Совета мира или оставить их в распоряжении шведских властей, но заставить его «признать эту почесть позором» и отблагодарить за оказанную ему честь «ответной грубостью» он категорически отказывался. Но прекрасно понимая, что от него ждут совсем другого, продолжал: «Я жду для себя всего, товарищи. И вас не обвиняю.

Обстоятельства могут заставить вас в расправе со мной зайти очень далеко, чтобы вновь под давлением таких же обстоятельств меня реабилитировать, когда будет уже поздно. Но этого в прошлом было уже так много! Не торопитесь. Прошу вас. Славы и счастья вам это не принесет»{1671}.

На само это заседание явились 42 человека – члены общесоюзного правления, оргбюро РСФСР, президиума Московского отделения. Не явились 26 человек, и Поликарпов отчитывается перед своим начальством о причинах отсутствия каждого из них: Твардовский, Шолохов, Лавренев, Гладков, Маршак больны; Эренбург в загранкомандировке, Сурков и Исаковский на лечении в санатории, без причин Леонов и Погодин, больным сказался Вс. Иванов. О сути дела сообщил Г.М. Марков. Выступило 29 человек, в том числе беспартийные Н.С. Тихонов, Н.К. Чуковский, Г.Е. Николаева. Последняя назвала Пастернака «власовцем» и заявила:

– Для меня мало исключить его из союза, этот человек не должен жить на советской земле.

Только вот поэт С.М. Кирсанов, «в свое время превозносивший Пастернака, не высказал своего отношения к обсуждавшемуся вопросу». Однако решение об исключении Пастернака из членов союза писателей было принято «единодушно»{1672}.

А Федин в тот же день писал Поликарпову, что в 4 часа дня к нему пришла О.В. Ивинская, подруга Пастернака, и в слезах передала ему, что сегодня утром Борис Леонидович заявил ей, что у него с ней «остается только выход Ланна» – писателя и переводчика, вместе с женой недавно покончившего с собой. «По словам ее, Пастернак будто бы спросил ее, согласна ли она “уйти вместе”, и она будто бы согласилась»{1673}.

Сообщение о лишении Пастернака писательского звания было опубликовано во всех газетах 29 октября{1674}. И в этот день Пастернак сдался, отправив в Стокгольм телеграмму: «Ввиду того значения, которое приобрела присужденная мне награда в обществе, я вынужден от нее отказаться. Не примите в обиду мой добровольный отказ»{1675}.

Выступая в тот же день на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященном 40-летию комсомола, руководитель этой организации В.Е. Семичастный заявил:

– Пастернак настолько обрадовал наших врагов, что они пожаловали ему Нобелевскую премию, не считаясь с художественными достоинствами его книжки. Этот человек жил в нашей среде, а теперь взял и плюнул в лицо народу. Пастернак – это внутренний эмигрант, и пусть бы он действительно стал эмигрантом, отправился бы в свой капиталистический рай. Я уверен, что и общественность, и правительство никаких препятствий ему бы не чинили, а, наоборот, посчитали бы, что этот его уход из нашей среды освежил бы воздух{1676}.

31 октября устроили собрание московских писателей. На него настойчиво приглашали всех и намекали на необходимость высказать свою точку зрения. Почти все так и поступали. И нет таких позорных слов, которые не были бы произнесены в адрес Нобелевского лауреата. Докладчик С.С. Смирнов напомнил, что Нобелевская премия по литературе присуждалась эмигранту Бунину, врагу советского народа Черчиллю, фашиствующему писателю Камю, «рядом с которым не сядет ни один порядочный писатель», но который прислал дружескую телеграмму Пастернаку. Призвав поддержать единодушное мнение руководства Союза о лишении Пастернака звания советский писатель, он сказал:

– Зная мнение своих товарищей по Московскому отделению, слыша многие возмущенные разговоры людей, которых до глубины души возмутил этот поступок Пастернака, я не сомневаюсь, что и сегодня наше мнение о его поведении будет единодушным{1677}.

Так оно и было. «Ярчайшим примером космополита в нашей среде» назвал Пастернака поэт Л. Ошанин{1678}.

– Лауреат Нобелевской премии этого года почти официально именуется лауреатом

Нобелевской премии против коммунизма, – сказал поэт Б. Слуцкий. – Стыдно носить такое звание человеку, выросшему на нашей земле! {1679},⁹

– Собачьего нрава не изменишь, – сослался на русскую поговорку С. Баруздин {1680}.

«Литературным Власовым» назвал его Б. Полевой:

– Это человек, который живя с нами, питаясь нашим советским хлебом, получая на жизнь в наших советских издательствах, пользуясь всеми благами советского гражданина, изменил нам, перешел в тот лагерь и воюет в том лагере. Мы должны от имени советской общественности сказать ему: «Вон из нашей страны! Мы не хотим дышать с вами одним воздухом» {1681}.

Всего выступило 14 человек. Еще 13 пожелали бы выйти на трибуну. Но по поступившим в президиум «настойчивым предложениям» прения были прекращены. Не дали слова даже Дудинцеву, хотя и раздавались возгласы сделать для него исключение. А затем все единогласно проголосовали за резолюцию, повторяющую решение писательского руководства {1682}.

1 ноября Пастернак в письме на имя Хрущева сообщал, что поставил в известность Шведскую академию о своем добровольном отказе от премии. «Выезд за пределы моей родины для меня равносителен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры» {1683}. 5 ноября он пишет в редакцию газеты «Правда» еще одно письмо, на сей раз для публичного покаяния: «Когда я увидел, какие размеры приобретает политическая кампания вокруг моего романа и убедился, что это присуждение шаг политический, теперь приведший к чудовищным последствиям, я по собственному побуждению, никем не принуждаемый, послал свой добровольный отказ» {1684}.

Правда, по данным чекистов, это раскаяние было неискренним и носило «двурушнический характер». Контроль за его корреспонденцией позволил установить, что «он пытался отправить за границу ряд писем, в которых подтверждал свое удовлетворение присвоением ему Нобелевской премии и уполномочивал получить ее свою знакомую графиню де Пруайар, проживающую во Франции». Мало того, в письме от 3 января 1959 г. некоему МакГрегору он делился таким своим настроением: «Я напрасно ожидал проявления великодушия и снисхождения в ответ на два моих опубликованных письма. Великодушие и терпимость не в природе моих адресатов. Петля неясности, которая все больше и больше затягивается вокруг моей шеи, имеет целью силой поставить меня в материальном отношении на колени. Но этого никогда не будет. Я переступил порог этого года с самоубийственным настроением и гневом». Делясь с ЦК своими наблюдениями за Пастернаком, чекисты сообщали, что «ряд лиц из числа его близкого окружения также не разделяет точки зрения советской общественности» и своим сочувствием подогревает его озлобленность. В их числе были названы его «сожительница» О.В. Ивинская, писатель Вс. Иванов и его жена А.С. Эфрон – дочь поэтессы Цветаевой {1685}.

11 февраля 1959 г. в лондонской газете «Дейли мейл» было опубликовано стихотворение Пастернака «Нобелевская премия». В нем выражались чувства, испытываемые им в то время: «Я пропал, как зверь в загоне / Где-то люди, воля, свет, / а за мною шум погони, / мне на волю хода нет...» {1686}.

Это переполнило чашу терпения властей. 27 февраля Президиум ЦК поручил прокуратуре допросить по этому поводу Пастернака. Вызванный 14 марта на допрос к генеральному прокурору Р.А. Руденко, он признал факт передачи стихотворения иностранному корреспонденту, но только в качестве просимого автографа, а вовсе не для публикации. Признав, что эта «роковая неосторожность» может быть расценена, причем справедливо, как двурушничество, Пастернак вынужден был снова покаяться:

– Этот новый случай особенно прискорбен для меня потому, что он ставит под сомнение искренность моего решения служить своей родине. Я осуждаю эти свои действия и отчетливо понимаю, что они влекут за собой мою ответственность по закону, как советского

⁹ Случайно встретивший Слуцкого накануне собрания В. В. Иванов рассказывал, что он не в силах был справиться с охватившим его страхом, с угрозой быть исключенным из партии и с как неизбежным следствием, литературным небытием (Каверин В. Эпилог. Мемуары. М., 2002. С. 379).

гражданина{1687}.

Вполне вероятно, что если бы эти слова, наверняка являвшиеся парафразом прокурорского внушения, не были бы произнесены и зафиксированы в протоколе допроса, то немедленно был бы подписан уже подготовленный проект указа о лишении Пастернака советского гражданства и удалении его из пределов СССР{1688}. К тому же властям стало известно, что он неизлечимо болен и дни его сочтены{1689}.

Как уже отмечалось выше, М.А. Шолохова не было в те октябрьские дни в Москве. Но в апреле 1959 г. он выезжал за границу, и в Париже ему пришлось отвечать на неприятные вопросы журналистов. Особенно досаждали ему по поводу «дела Пастернака». И он нашел довольно дипломатичный выход. Прекрасно зная, где и кем принималось решение по этому делу, будущий лауреат Нобелевской премии свел все к тому, что «коллективное руководство Союза советских писателей потеряло хладнокровие». Ведь творчество Пастернака, по его мнению, в целом, не считая блестящих переводов, «лишено какого-либо значения». А уж что касается «Доктора Живаго», то это вообще «бесформенное произведение, аморфная масса, не заслуживающая названия романа». И вместо того, чтобы запрещать эту книгу, ее следовало бы опубликовать.

– Надо было, чтобы Пастернаку нанесли поражение его читатели вместо того, чтобы выносить ее на обсуждение писателей. Если бы действовали таким образом, наши читатели, которые являются очень требовательными, уже забыли бы о ней.

Но такая защита показалась партийным чиновникам из ЦК КПСС неуместной. 23 апреля Поликарпов докладывал своему начальству: «Считал бы необходимым в связи с этим поручить советскому послу во Франции проверить достоверность сообщения “Франс суар” и, если такое интервью имело место, обратить внимание М. Шолохова на недопустимость подобных заявлений, противоречащих нашим интересам. Если сообщение газеты ложное, рекомендовать т. Шолохову опровергнуть его публично»{1690}.

1 июня 1960 г. Б.Л. Пастернака хоронили. Поклониться почившему поэту пришли десятка полтора литераторов. Некоторые не посмели. Поэт А.П. Межиров, например, бывший офицер-фронтовик, автор сильных энергетических стихов «Тишайший снегопад» и «Коммунисты, вперед!», говорил в свое оправдание:

– Я боюсь. Я же член партии...{1691}

Не все оказались во власти страха. Из партийных был Б. Окуджава. А. Вознесенский написал в тот день стихотворение «Несли не хоронить – несли короновать» и отнес его в редакцию газеты «Литературная Россия». Там его взяли и опубликовали, правда, в номере, посвященном юбилею Л.Н. Толстого. Это было уже в ноябре. Поэтому мало кто догадался, о чем идет речь, читая строфу: «Вбегаю в дом его. / Пустые этажи / На даче никого. / В России – ни души»{1692}.

А в октябре 1960 г. В.С. Гроссман передал в редакцию журнала «Новый мир» свой роман «Жизнь и судьба» с просьбой «просто прочитать». До этого рукопись успела побывать в редакции журнала «Знамя». Сделано это было автором не без влияния неостывшей обиды на «Новый мир», редколлегия которого во главе с Твардовским в 1953 г. признала своей ошибкой публикацию его романа «За правое дело». К тому же Гроссманом овладела мысль, что у руководящих ретроградов от литературы «есть сила, размах и смелость бандитов» и что поэтому «они скорее, чем прогрессивные способны пойти на риск»{1693}. Тем более, что роман-то был о войне.

Прочитав его, А.Т. Твардовский испытал «самое сильное литературное впечатление за, может быть, многие годы... впечатление радостное, освобождающее, открывающее тебе какое-то новое... видение самых важных вещей в жизни. Находя вещь настолько значительной, что «она выходит далеко и решительно за рамки литературы», записывал он в том же октябре в свою рабочую тетрадь: «В сравнении с ней “Живаго” и “Хлеб единый” – детские штучки». И, понимая, что опубликование романа «означало бы новый этап в литературе... возвращение ей подлинного значения правдивого свидетельства о жизни», не мог «отмыслить своей редакторской сущности» в этом деле, ибо понимал, что сие не в его власти, и стал искать соответствующие пути{1694}.

Однако трудные переговоры с автором об изменениях в тексте, необходимых, по мнению

Твардовского, не только по цензурным соображениям, остались безуспешными. Между тем, от главного редактора журнала «Знамя» В.М. Кожевникова о романе стало известно и на Старой площади, и на Лубянке. КГБ стал изымать подрывные экземпляры, и когда за ними пришли к самому Гроссману, он указал и на тот экземпляр, что находился в «Новом мире».

«Изъятие органами экземпляра романа Гроссмана – в сущности арест души без тела, – записывал Твардовский 20 февраля 1961 г. – Но что такое тело без души?.. Дважды говорил с Гроссманом – он подавлен. Мне не кажется это мероприятие разумным, не говоря уже о его насильственном характере. Дело не в том, что для Гроссмана с его дурью эта акция – подтверждение того, о чем он пишет в романе, а в том, как это скажется на людях нашего цеха. Взят и мой экземпляр, хранившийся в сейфе... Таким образом, часть того недоверия, которое обращено к автору, относится и ко мне. Ах, горе луковое, несмышленное»{1695}.

Между тем на литературных подмостках все слышнее становились голоса молодых поэтов и прозаиков. В начатой журналом «Новый мир» дискуссии о лирической поэзии критик Б. Рунин отмечал незаурядное дарование Е. Евтушенко, его новаторство и популярность, хотя и упрекал в поверхностности. По «молодым» прошлись на секретариате правления Союза советских писателей. Воздержавшийся при этом Твардовский на следующий день в редакции, беседа с Руниным, кричал на него:

– Вы принимаете всерьез Евтушенко!

Тот терпеливо возражал. Но его убежденность еще более раздражала мэтра, хотя он и невольно почувствовал, что, может быть, он тут чего-то просмотрел: «Мне ясно и жутко было, что дело не в “таланте”, не в Евтушенко как таковом, а в той аудитории, которая жаждет чего-то “антисофроневского”, чего-то на западный образец, чего-то не казенного, и коль Евтушенко полузапретный плод, то и подавай его». Это явление Твардовский считал серьезным, ни в какое сравнение не идущим с личными качествами Евтушенко. «Это показатель того, что происходит в среде не рабочей (а может быть и рабочей) и не колхозной (а есть такая) молодежи столиц и университетских городов как реакция на развенчание “культ личности”, на неустройство и др. (болезненные моменты, связанные с реформой школы и т. п.). Это – неомещанская среда с чертами несомненного буржуазного влияния послевоенной формации, “влияния”, которое только отчасти идет извне, а в основном складывается “дома” под воздействием формально-бюрократического окостенения комсомола, методов преподавания идеологических дисциплин, сделавших великое учение скучными страницами обязательного учебника, – “пройти, сдать и забыть”»{1696}.

Решившись лично разобраться в творчестве Евтушенко, Твардовский 2 июня 1961 г. прочел подряд книжку его стихов «Яблоко», и на следующий день записывал свои впечатления: «Что говорить, парень одаренный, бойкий и попал “на струю”... Есть и “самокритика”, и переоценка своих “слабых побед”, и апелляция напрокудившего и “усталого” лирического героя к “маме”, что довольно противно, но в целом книжка стоящая, не спутаешь с кем-нибудь другим, отличишь от них скорее, чем, скажем, С. Васильева»{1697}.

Раздражал Твардовского и другой кумир тогдашней интеллигентствующей публики – И.Г. Эренбург, мемуары которого «Годы, люди, жизнь» вызывали неподдельный интерес у читающей публики, но вызывали раздражение в идеологических сферах тем, что в них подвергались ревизии многие уже устоявшиеся воззрения на историю русского искусства, да и общества в целом. На главного редактора «Нового мира» то, что ему приходилось читать в этих мемуарах, производило в целом жалкое впечатление: «Чем ближе к взрослым годам и временам, тем страннее его мелочная памятьливость относительно его встреч, выпивок, болтовни, плохих (своих и чужих) стихов, обид, будто бы причиненных ему в этом мире с рождения до старости... Можно было бы не унижаться и до памятьливости насчет нападок на “Оттепель», например, – ведь нападки нападками, но повесть-то плохонькая. То, что он сидел и болтал в кабачках всех столиц Европы, дает ему право до сих пор думать, будто бы судьбы Европы в значительной степени зависели от него и от его друзей. Странное и жалкое самообольщение на старости лет. Не дай бог дожить!»{1698}. Как мы увидим чуть ниже, сходного мнения об этих мемуарах и их авторе придерживался и главный оппонент Твардовского – Кочетов.

Но сходные точки зрения на отдельные персонажи литературной сцены ни в коем случае

не позволяют нам даже предположить возможность какого-то компромисса между ними во взглядах на роль слова в обществе. Именно это обстоятельство заставляло Твардовского, несмотря на критическое отношение к отдельным сторонам этих мемуаров и мотивам их автора, начать их публикацию на страницах «Нового мира», проявляя немалую дипломатическую гибкость в личных отношениях с ним. Так, уже на следующий день он пишет ему: «Вы слишком крупны, Илья Григорьевич, чтобы унижаться до такой памятности относительно причиненных вам обид и огорчений, слишком много чести для тех, кто это делал, чтобы помнить о них». И в то же время особо оговаривался: «Я не собираюсь просить вас вспомнить о том, чего вы не помните, и опустить то, чего вы забыть не можете»{1699}.

Негласное и гласное соперничество разных направлений литературного творчества продолжилось и на XXII съезде КПСС. Оба его представителя там выступали. Один осуждал иллюстративность, приспособленчество, трусливую оглядку на «указания». Другой налегал на пафос. И, что характерно, Твардовского партийная элита встречала и провожала аплодисментами.

– Вам мало аплодировали, потому что вас сильно слушали, – сказал ему академик С.П. Королев{1700}.

Кочетова же так плохо слушали, что президиум два раза звонком призывал зал к тишине{1701}.

Но идеологический аппарат был иного мнения об этих литераторах, олицетворяющих два течения в советской литературе. Газеты опубликовали речь Кочетова с указаниями в скобках («Оживление, аплодисменты») как раз в тех местах, где должно было бы быть указание («Шум в зале, возгласы: “Хватит!”»){1702}. В справке же для Секретариата ЦК, подготовленной два месяца спустя заведующим отделом культуры ЦК Д.А. Поликарповым, основные тезисы речи Твардовского признаются ошибочными и подвергаются развернутой критике, зато выступление Кочетова получает поддержку{1703}. А вот помощник Хрущева по вопросам культуры В.С. Лебедев, напротив, благоволил Твардовскому и во время съезда имел с ним «прямой разговор» о его переделанной поэме «Теркин на том свете», уже подвергавшейся партийному осуждению в 1954 г., и выразил готовность посмотреть ее в конфиденциальном порядке и «посоветоваться»{1704}.

Спустя некоторое время Твардовский записывал: «Совершенно ясно, что “Теркин на том свете” должен явиться в свет, появиться, быть напечатанным. “Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым”. Это недавнее, “внутреннее” наше прошлое, к которому вновь и с таким глубоким выворотом обратились мы на съезде, – что же это, как не “преисподняя”. И показ ее в “снятом”, победительном плане – просто необходим. Данной вещи может помешать только само это прошлое, предубеждение, “магические слова”, повиснувшие когда-то в воздухе и не развеянные еще. – Попытаемся»{1705}. Можно предположить, что в этой записи кратко подытожены аргументы, которыми поэт обменялся на съезде с помощником первого секретаря ЦК.

Но вскоре другое литературное произведение займет основное внимание Твардовского, как главного редактора журнала «Новый мир». Рано утром 12 декабря 1961 г. он делает такую запись: «Сильнейшее впечатление последних дней – рукопись А. Рязанского (Солженицына), с которым встречусь сегодня. И оно тоже обращает меня к “Т[еркину] на т[ом] св[ете]”»{1706}.

Не молчал и В.С. Гроссман. В письме на имя Хрущева он просил «вернуть свободу» своей книге, чтобы о ней судили редакторы и читатели, а не сотрудники КГБ. «Но читатель лишен возможности судить меня и мой труд тем судом, который страшней любого другого суда – я имею в виду суд сердца, суд совести». Жалуясь на то, что ему было рекомендовано отвечать на вопросы читателей, будто работу над рукописью он еще не закончил и что работа эта затянется на долгое время, указывая также на то, что ему предложили дать подписку о неразглашении факта изъятия рукописи, он делал вывод: «Так с ложью не борются. Так борются против правды. Что же это такое? Как понять это в свете идей XXII съезда партии?». Напоминая Хрущеву о силе и смелости, с которыми он на съезде осудил «кровавые беззакония и жестокости, которые были совершены Сталиным», и вызывая к высокой ответственности политического лидера перед своим временем, писатель высказывал мысль о том, что «в росте демократии и свободы еще больше, чем в росте производства и потребления, существо нового человеческого

общества» и что «вне непрерывного роста норм свободы и демократии новое общество» ему «кажется немыслимым»{1707}.

Ответа на это письмо Гроссман не получил. Некоторые исследователи полагают, что оно, скорее всего, до Хрущева не дошло, а если бы и дошло, вряд ли что-нибудь изменилось в судьбе его романа{1708}. Трудно с этим не согласиться. Но все же, как нам кажется, Хрущев был в курсе. И беседа Сулова с Гроссманом, состоявшаяся 23 июля 1962 г., во время которой ведущий партийный идеолог сказал, что роман политически враждебен и может принести вред несравнимо больший, чем «Доктор Живаго» Пастернака, а потому «может быть, и будет издан, но лет через 200-300»{1709}, вряд ли проходила без его санкции. Как отмечает историк Д.И. Полякова, «человек переходной эпохи» Хрущев сумел перейти Рубикон, но мосты за собой не сжег: «Видимо, не достало духу, ведь они были и его детищем». Восстав против произвола сталинщины, возвращая доброе имя мертвым, честь и достоинство живым, он, тем не менее, «держал демократию на коротком поводке»{1710}.

Вопрос о том, была ли при Хрущеве демократия, довольно спорен. Но несомненно то, что, пойдя на разоблачение культа личности Сталина и продолжая в дальнейшем яростно обвинять его в самых различных грехах, первый секретарь ЦК КПСС во многом оставался сталинистом. Да он и сам это признавал.